

Дагон

Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения, ибо сегодня вечером меня не будет в живых. Оставшийся без гроша, и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой, я не могу более переносить это мучение и скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую. И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом. Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймете, почему я добиваюсь забвения или смерти.

Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарго, пал жертвой германского рейдера. Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гуннов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом; поэтому наше судно было объявлено законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпочке, захватив с собой достаточное количество воды и провизии.

Оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звездам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, и несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль либо прибьет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появлялось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе.

Перемена произошла, пока я спал. Подробности ее так и остались неизвестными для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался.

Когда я наконец пробудился, оказалось, что меня засасывает в адски черную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, а лодка моя лежала на ней, как на суше, неподалеку.

Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огромного преобразования окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем



был удивлен, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто зловещее, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мертвые рыбыны, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизреченную мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, а зрение — ничего иного, кроме бесконечной черной грязи со всех сторон; и все же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх.

Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне черными в своей безоблачной жестокости и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение мое способна объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна, обнажив область его, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо мной земля, что, усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издали рокоющих океанских волн. Не было видно и чаек, охотящихся за мертвечиной.

Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того, как солн-

це ползло по небу. С течением времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного, и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума; но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше прочих на гладкой равнине. Ночь я провел под открытым небом, а на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее. На четвертый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшая меня от него долина еще резче выделяла бугор на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его.

Не знаю, почему сны мои в ту ночь оказались настолько бурными; но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольно. И в свете луны я понял,

насколько неразумным было мое решение путешествовать днем.

Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии; в самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устрашавший меня на закате подъем. Подобрал пожитки, я направился к гребню возвышенности.

Я уже говорил о том, что ничем не прерывавшаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас; однако кошмар этот сделался еще более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон, в чьи темные недра не могли проникнуть лучи еще невысоко поднявшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припомнил я уместные строки «Потерянного рая»*, повествующие о жутком подъеме Сатаны через бесформенные области тьмы.

Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал предоставляли достаточную опору для ног, и когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. Повину-

* Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека — Адама.

ясь порыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с камней на ровный склон под ними, заглядывая в стигийские бездны, куда еще не проникал свет.

И тут вдруг мое внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто выраставший на противоположном склоне передо мной; объект, блеснувший белым светом под только что нисшедшими к нему лучами восходящей луны. Я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень, но при этом осознал, что очертания и положение его едва ли были делом рук одной только Природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить; ибо несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшейся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров; камень, быть может, знавший поклонение живых и разумных существ.

Потрясенный и испуганный, и все же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я огляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявшей почти в зените, падал на крутые стены, заключавшие между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну ее в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоем. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхнос-

ти которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на все, что случалось мне видеть в книгах; в основном они изображали некие обобщенные символы моря: рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков, очевидно, изображали неизвестных современному человеку морских тварей, чьи разлагающиеся тела видел я на поднявшейся из океана равнине.

Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки. Ясно видимые за разделявшим нас водоемом благодаря своей колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть Доре*. Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей — во всяком случае, некую разновидность людей; хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимися какому-то монолиту, также как будто бы находившемуся под волнами. О лицах и очертаниях их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности воображения Эдгара По или Бульвер-Литтона, мерзостно напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стекля-

* Поль Гюстав Доре (1832–1883) — французский гравер, иллюстратор и живописец.



нистые выпуклые глаза и прочие черты, еще менее приятные для памяти. Забавно, однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением, ибо одно из созданий на рельефе убивало кита, изображенного всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, гротескный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомок которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков пилтдаунского или неандертальского человека. Потрясенный неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воды лежавшего предо мной безмолвного протока.

И тут я внезапно увидел — это. Оставив лишь легкое кружение на воде, тварь поднялась над темными водами. Огромная, как Полифем, и мерзкая, явившись из кошмара чудовищем она ринулась к монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и, склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассудком.

Я мало что помню о своем отчаянном подъеме по склону и по утесу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, а когда не мог петь, хо-

хотал, как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые Природа производит лишь, пребывая в самом бурном настроении.

Выбрался я из забвенья только в госпитале — в Сан-Франциско, — куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший мое суденышко посреди моря-океана. Пребывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слухом не слышали о том, чтобы в Тихом океане понималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе; но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадежно банален, не стал рассказывать о своем открытии.

Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морфий; увы, наркотик дарует лишь временное облегчение, но тем не менее он уже сделал меня своим безнадежным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчет для информации или пренебрежи увеселения своих собратьев-людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым

фантазмом... болезненным видением, порожденным лихорадкой, пока я лежал в забытии, рожденным солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, не пожившись при мысли о тех безымянных тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илистом дне, почитая своих древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобию на подвод-

ных обелисках из омытого водой гранита. И мне все мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомленного войной человечества, — тот день, когда потонет суша, а мрачное океанское дно восстанет посреди вселенского пандемониума.

Конец близок. Я слышу шум возле двери, какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на него. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! Окно! Окно!

Безымянный город

Я знал, что над Безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине и уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка, словно трупы из плохо засыпанных могил. Искрошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, встававший у меня на пути невидимой преградой, замедлял поступь моего верблюда; мне казалось, некто убеждает меня отступить, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда.

Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни, его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, и кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдула Альхазред грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих:

Над чем не властен тлен, то не мертво,
Смерть ожидает смерть, верней всего.

Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить Безымянный город стороной. О, этот город, породивший множество легенд! Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да, мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрег их советами и, оседлав верблюда, отправился в пустыню. И добился своего: я единственный зрел Безымянный город, и оттого на лице моем навеки запечатлелся страх, оттого я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. Я набрел на него, застывшего в ненарушимой тишине бесконечного сна; он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей жаром пустыни. Глядя на него, я понял: моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась; я расседлал верблюда и решил дожидаться рассвета.

Час проходил за часом. Наконец небо на востоке посерело, звезды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то, что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его

заволокло взвихренным песком, и мне, в моем смятенном состоянии, почудилось, будто из неведомых глубин донесся мелодичный звон. Он словно приветствовал светило, подобно Мемнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повел верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня.

Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые рассказали бы мне о тех людях — людях ли? — что построили в незапамятные годы этот город и жили в нем. В самой древности места было нечто нездоровое, и мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город — творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потому принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер; он принес с собой страх, и я не осмелился остаться на ночевку в пределах городских стен. Только я пересек незримую границу, за моей спиной взвился и пронесся по серым камням смерчик, который взялся неизвестно откуда — ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой.

Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролет меня донимали кошмары. В голове моей звучал металлический звон. Над безымянным городом бушевала песчаная буря, сквозь пелену которой виднелось багровое солнце, но вокруг все было по-пре-

жнему тихо и спокойно. Выждав, пока она утихомирится, я вновь устремился к обломкам седой старины, что едва проступали из-под песка, укрывавшего их исполинским ковром, и потратил все утро на бесплодные поиски реликвий древнего народа. В полдень я передохнул, а после долго ходил по засыпанным улицам и пробирался вдоль крепостных стен, нанося на карту местонахождение почти исчезнувших строений. Я установил, что город и впрямь был когда-то велик, восхитился его былым могуществом и попробовал вообразить себе чудеса, которых он был полон в минувшие дни и которых не застала даже Халдея. Мне почему-то вспомнился обреченный Сарнат, гордость человечества и столица края Мнар, я подумал о вырубленном из серого камня Ибе, который существовал за много тысячелетий до появления на свете людей.

Совершенно неожиданно для себя я вышел к выступавшей из-под песка скале. Меня охватил восторг, ибо я наконец-то увидел то, что предвещало, как мне хотелось верить, обнаружение следов, оставленных загадочными жителями города. В скале имелось отверстие — наверно, то был вход в храм, где скрываются тайны эпохи, слишком от нас далекой, чтобы мы могли назвать ее по имени. Скорее всего, на поверхности невысокого утеса высечены были буквы или фигуры, однако песчаные бури потрудились на славу: камень на ощупь был ровным и гладким.

Рядом виднелись и другие отверстия, но я остановил свой выбор на том, какое попало мне на глаза

первым. Раскидав лопатой песок у входа и прихватив с собой факел, я заполз в мрачный ход, который вывел меня в пещеру, очевидно служившую когда-то храмом и содержавшую предметы, что принадлежали, по-видимому, тем, кто молился тут еще до того, как пустыня стала пустыней. Я различил примитивные алтари, колонны, странно невысокие ниши, многочисленные камни, чья причудливая форма свидетельствовала о том, что их касался инструмент каменотеса, но не заметил ни фресок, ни статуй. Своды пещеры были весьма низкими — я едва мог выпрямиться, даже стоя на коленях, — однако стены отстояли друг от друга на столь значительное расстояние, что свет моего факела выхватывал из мрака лишь крохотную часть скалистого грота. Продолжая осматриваться, я невольно вздрогнул: некоторые алтари своим видом наводили на мысль об ужасных, неопикуемых древних обрядах и вынуждали задуматься над тем, какие же существа приходили некогда молиться в этот храм. Удовлетворив любопытство, я выбрался наружу; мне хотелось до наступления темноты заглянуть в соседние отверстия.

Над руинами уже сгущались сумерки, однако, будучи человеком любознательным, тем более мое воображение было подстегнуто открытием храма в скале, — я переборол страх и не стал убегать от длинных лунных теней, которые так напугали меня накануне. Расчистив другой вход, я взял новый факел и заполз туда. Внутри я нашел камни и алтари, как две капли воды схожие с теми, какие находились в первой пещере. Своды этой

были такими же низкими, однако остальными размерами она сильно уступала гроту, с которого я начал осмотр, и заканчивалась узким коридором: вдоль стен его выстроились во множестве загадочные ковчеги. Едва я приблизился к ним, мое внимание привлёк донесшийся снаружи звук, в котором я узнал крик своего верблюда; животное словно звало на помощь, и я поспешил к нему, гадая, что могло вселить в него страх.

На небе сияла луна, заливая призрачным светом руины, над которыми висела густая пелена песка, поднятого в воздух резким, но, судя по всему, постепенно стихающим ветром. Я догадался, что именно порывы ветра и обеспокоили верблюда, и собирался уже отвести животное в укрытие понадежнее, когда мой взгляд отметил некую маленькую несообразность в окружавшем меня пейзаже: на вершине утеса, у которого я стоял, ветра как будто не было. Я изумился и где-то даже испугался, но тотчас припомнил те ветры, что буйствовали над городом на рассвете и на закате, и решил, что подобное здесь в порядке вещей. Мне подумалось, что диковинный ветер вырывается, должно быть, из какой-нибудь трещины в скале, и я направился на ее поиски, ориентируясь по свеженаметенному песчаному гребню. Вскоре я разглядел впереди черный зев отверстия — наверно, проход в еще один храм. Отворачивая лицо от так и норовящего попасть в глаза песка, я подошел поближе. В глубине отверстия виднелись очертания полуприсыпанной двери. Я попробовал было открыть ее, но ледяной ветер, что дул из щели под нею,



чуть было не загасил мой факел. Завывая и постанывая, вихрь ворошил песок и швырял его во все стороны. Через какое-то время напор ветра ослабел, песчаная пелена мало-помалу развеялась и все успокоилось. Тем не менее мне чудилось, будто по древнему городу разгуливает призрак минувших дней, будто луна вдруг подернулась рябью, словно была собственным отражением в неких бурливых водах. Мне было страшно, однако не настолько, чтобы я забыл о своей жажде чудесного. И, стоило лишь ветру улечься окончательно, я проник за ту дверь, из-под которой он рвался на волю.

Я очутился в очередном храме, который, впрочем, был обширнее любого из тех, в каких я успел побывать раньше, и являлся, похоже, — ибо как раз в нем томился взаперти подземный вихрь — естественной пещерой. Оказавшись внутри, я без труда выпрямился в полный рост, но алтари здесь были ничуть не выше, чем в прочих храмах, стены и потолок пещеры наконец-то явили моему взору образцы живописи тех, кто населял когда-то Безымянный город. Я различил причудливые ломаные линии; краски, которыми нанесены были изображения, поблекли от времени, а кое-где попросту исчезли заодно с обратившимся в крошево камнем. На двух алтарях я разглядел затейливую, искусную резьбу. Меня переполнял восторг. Я поднял факел над головой и взглянул на потолок: мне показалось, он слишком уж ровный, чтобы быть естественным образованием. Неужели и к нему приложили резцы древние каменотесы?

Если так, то они, надо признать, обладали солидным инженерным опытом.

Внезапно пламя факела сделалось ярче, и в его свете я увидел то, что разыскивал, — отверстие колодца, который уходил в бездну, откуда дул ледяной ветер. Когда я присмотрелся к нему, мне стало нехорошо, ибо оно было явно искусственного происхождения. Опустив в него факел, я разглядел круто уводивший вниз коридор со множеством крохотных каменных ступенек. Эти ступени будут мне сниться до конца моих дней, ибо теперь я знаю, куда они ведут. Они были столь крохотными, что поначалу я принял их за простые зарубки в стене колодца для облегчения спуска. Меня одолевали безумные мысли, предостережения арабских пророков вновь зазвучали в моем мозгу, их слова как будто долетели до меня через пустыню из тех земель, где обитают люди, которые не смеют даже грезить о безымянном городе. Однако, помедлив всего лишь какой-то миг, я пробрался сквозь отверстие и поставил ногу на верхнюю ступеньку.

Спуск, подобный тому, который совершил я, может привидеться человеку разве что в снах, навеванных наркотиками, или в горячечном бреде. Факел, который я держал над головой, бессилен был рассеять мрак, что царил в узком стволе колодца. Я потерял счет времени, я забыл про часы на руке, я испугался, подумав о расстоянии, которое уже преодолел. Крутизна колодца и его направление постоянно менялись; раз я очутился в протяженном коридоре с низким потолком и вынужден был

ползти по каменному полу ногами вперед, волоча за собой факел, ибо свод буквально нависал надо мной и я не мог даже встать на колени. Потом снова пошли ступени. Я по-прежнему карабкался по ним, когда мой факел погас. Не думаю, чтобы я тогда обратил на это внимание, поскольку, помнится, все еще держал его над головой, словно он продолжал гореть. По правде сказать, томление по загадочному и таинственному, которое превратило меня в скитальца и охотника за древними чудесами, порой сказывалось на моем рассудке.

Во мраке перед моим мысленным взором возникали драгоценности из моего собрания демонических знаний: отрывки из творения безумного араба Альхазреда, апокрифические кошмары Дамаскина, кощунственные строки бредового «*image du Monde*»* Готье де Меца. Я бормотал их себе под нос, я припомнил Афрасиаба и бесов, что уволокли его вниз по Оксу, я произносил нараспев одну и ту же фразу из повести лорда Дансени: «...глухая тьма бездны». Когда же спуск сделался поистине умопомрачительно крутым, я принял-ся декламировать Томаса Мура:

Вода чернела в глубине
Подобьем ведьминской отравы,
В которую кладутся травы,
Что полнолунием налиты.
Я наклонился над обрывом

* «Образ мира» (фр.).

И, в нетерпении своем,
Узрел такое с высоты:
На берегу, как слизи ком,
Трон Смерти высился кичливо,
Бросая тень на все кругом...

Время полностью перестало для меня существовать, но тут мои ноги нащупали ровную поверхность, и я обнаружил, что нахожусь в пещере, немногим более высокой, нежели те два храма, которые остались где-то там, наверху. Стоять я все-таки пока не мог, зато мне удалось сесть на колени, и в этом положении я стал осматриваться. Пещера представляла собой узкий проход, заставленный деревянными сундуками с передней стенкой из стекла. Подивившись тому, как могли оказаться в подземелье полированное дерево и стекло, я зябко передернул плечами. Сундуки располагались вдоль стен, на равном удалении друг от друга, они были прямоугольными, слегка вытянутыми в длину и до отвращения походили своими размерами и формой на гробы. Попытавшись сдвинуть парочку из них с места, я выяснил, что они надежно закреплены.

Проход уходил дальше во тьму, и я, присев на корточки, заковылял по нему «гусиным шагом». Наблюдай кто-нибудь за мной со стороны, моя походка наверняка привела бы его в ужас. Я наклонялся то вправо, то влево, чтобы убедиться, что сундуки — а, следовательно, и стены — по-прежнему сопровожда-